

Василий Щукин

"Медный всадник" А. С. Пушкина и славянофильско-западническая мифология Петербурга

Studia Rossica Posnaniensia 21, 101-118

1991

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК А. С. ПУШКИНА
И СЛАВЯНОФИЛЬСКО-ЗАПАДНИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ
ПЕТЕРБУРГА

A. S. PUSHKIN'S *COPPER RIDER* AND THE SLAVOPHILIC-WESTERN
MYTHOLOGY OF PETERSBURG

ВАСИЛИЙ ЩУКИН

АБСТРАКТ. In Alexander Pushkin's poem *The Copper Rider* a balance has been received between the Enlightenment and the Romantic interpretation of the phenomenon of Petersburg which then is to be shaken. Two rival myths of Petersburg are created — the Slavophilic and the Occidental one.

Vasilij Shchukin, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Rosyjskiej, ul. Piłsudskiego 8, 31-109 Kraków, Polska-Poland.

Поэма *Медный всадник* принадлежит к числу наиболее неоднозначных произведений Пушкина. В посвященном ей монографическом очерке В. Ледницки, ссылаясь на наблюдения В. Ходасевича, говорит о восьми существовавших к началу 1930-х годов интерпретациях поэмы, порою исключавших друг друга¹. Вслед за тем исследователь выдвигает собственное объяснение смысла *Медного всадника*, в основе которого лежит мысль о принципиальной двойственности основной идеи произведения. В сознании поэта, подчеркивает В. Ледницки, на равных правах сосуществуют две логики видения мира, две правды, каждая из которых является искренним убеждением Пушкина, но взятая в отдельности, превращается в правду однобокую, неполную.

С одной стороны, поэт смотрит на Россию с точки зрения ее внешнеполитических, общегосударственных интересов. „Полный гордого доверия покой”, оставивший равнодушным Лермонтова (стихотворение *Родина*, 1841), явно импонирует Пушкину: без своего державного величия, без „победы над врагом” отчина для него немыслима. Не только в знаменитом вступлении, но и во всей поэме воспевается невозмутимость и великодушные победителя. Однако Пушкин отдает себе отчет в том, что превращение России в великую европейскую державу было достигнуто ценой колоссальных потерь в общенациональном масштабе (не говоря уже о миллионах жертв конкретных,

¹ W. Lednicki, *O Jeźdźcu miedzianym. Studium*. W: *Jeździec miedziany. Opowieść petersburska Aleksandra Puszkina*, przekład Juliana Tuwima, Warszawa 1931; В. Ходасевич, *Статьи о русской поэзии*, Петербург 1922, с. 108 - 109.

человеческих). Поэтому путь к державности представляется поэту высокой трагедией, а непредсказуемое будущее, в котором все может случиться, порождает в его душе тревожный вопрос:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Этот „официальный”, по выражению В. Ледницкого, смысл поэмы сам по себе достаточно противоречив. Но этого мало: произведение осложняется целым комплексом психологических и социально-исторических проблем, связанных с „неофициальным” смыслом — с историей российского государства и его столицы, представленной с точки зрения интересов Евгения. Обедневший потомок захудалого аристократического рода, подобный самому Пушкину „дворянин в мещанстве”, бунтует против „революционности” династии Романовых, которые своею непреклонной волей укрепляли государственное могущество России, разрушая при этом счастье отдельных людей и благополучие целых сословий, подобно армии, несущейся вперед и забывающей об укреплении тылов. Пушкин понимает, что бунт против исторического прогресса — даже противоречивого по своей сути — обречен на поражение, бессмыслен. Но это не мешает ему стать на защиту интересов отдельного человека, обреченного быть жертвой высокой трагедии, разыгрывающейся на перепутьях истории².

В современных интерпретациях *Медного всадника* также подчеркивается его дуалистичность. Так например, Н. Я. Эйдельман считает, что главной чертой пушкинского историзма 1830-х годов была „диалектическая двузначность”: поэт не сомневался в положительной роли петровских реформ, но и отдельные, „маленькие” люди имели для него историческое значение. „Милость к павшим” (а значит, и к „бунтовщикам”) уравнивала собою пушкинское примирение с неумолимой, железной логикой хода вещей. *Медный всадник*, подчеркивает исследователь, заключает в себе „сложнейшую концепцию” истории³. Другой автор — Е. А. Годдес — отмечает, что загадочность пушкинской поэмы — ее изначально заложенное внутреннее свойство. Конфликт между логикой истории и логикой отдельной личности принципиально не может быть разрешен⁴. Подобные мысли с несколько неконвенциональной „подсветкой” высказывает В. Н. Турбин.

В *Медном всаднике* — пишет он, — столкнулись две правды, два равноправных духовных мира. Петр, конечно, мудр, но вот сына не сумел сберечь. Он остался без наследника.

² Ср. W. Lednicki, ук. соч., с. 83 - 84.

³ Н. Эйдельман, *Пушкин: история и современность в художественном сознании поэта*, Москва 1984, с. 40, 325, 362.

⁴ Е. А. Годдес, *К изучению Медного всадника*. В кн.: Пушкинский сборник, Рига 1968, с. 63.

А у Евгения была бы с Парашей дочка или сынок. А как знать, что выше: самые утонченные „умственные потребности” или жизнь одного-единственного казенного человека — царевича Алексея? ... Две правды сталкиваются. Одна — величава, значительна; другая — камерна, непритязательна. Обе они ограничены. Неполны обе; и оба героя Пушкина как бы однобоки; односторонни они. Но устремления их равноправны, и поэма мечтает о гармонии между ними⁵.

Двойственно осмысляются в *Медном всаднике* все три главных героя: Петр Великий, Евгений и — Петербург. Противоречивым было отношение Пушкина к этому городу, что нашло отражение хотя бы в известном стихотворении:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид...

Нет оснований сомневаться в искренности пушкинской любви к северной столице („Люблю тебя, Петра творенье,/ Люблю твой строгий, *стройный вид*” ...). Но с другой стороны, в письме к жене от конца мая 1834 года поэт восклицает: „Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?” Подобного рода горьких упреков „Петра творенью” немало в письмах и дневниках Пушкина последних лет жизни⁶.

На двойственность пушкинского Петербурга как „героя” *Медного всадника* указывает в своей интересной статье М. Н. Эпштейн⁷. Его работа носит компаративистский характер. Исследователь сравнивает разработку мотива строительства на берегу моря (одной из разновидностей покорения естественной стихии) в поэме Пушкина и в финале гетевского *Фауста*. Петр I, подобно Фаусту — „строитель чудотворный”, но с природой играть опасно. Закладывать фундамент прочной культуры на зыбкой почве, где вода смешивается с землей, день с ночью, где нет ничего прочного и определенного — значит невольно заключать договор с темными силами, с Мефистофелем, и недаром в этих „нечистых” местах мелкие духи — лемуры роют могилу Фаусту, оживают мертвые тела (памятник у Пушкина) и вообще творится всякая чертовщина. Гете все же настроен оптимистически: труд и разум в конце концов одерживают трудную победу над хаосом. Эта просветительская вера, как замечает М. Н. Эпштейн, совершенно чужда, например, Мицкевичу, который видит в Петербурге только насилие над природой и свободным человеком, только осуществление злой воли Мефистофеля — Петра.

⁵ В. Турбин, *Эхо Медного всадника*, „Октябрь” 1980, № 10, с. 204.

⁶ А. С. Пушкин, *Полное собрание сочинений в десяти томах*, изд. 3-е, т. 10. Москва 1966, с. 487. Подборку критических высказываний поэта о Петербурге см. в кн.: А. Белый, *Ритм как диалектика и „Медный всадник”*, Москва 1929, с. 266 и след.

⁷ М. Н. Эпштейн, *Фауст и Петр (типологический анализ параллельных мотивов у Гете и Пушкина)*. В кн.: Гетевские чтения. 1984, Москва 1986, с. 184 - 202.

Пушкин, — продолжает исследователь, — не разделяет ни оптимизма немецкого поэта, ни пессимизма польского. Судьба своей нации видится ему как историческое превращение фаустовского в мефистофелевское, как торжество величественного государственно го строя, объединительного порядка, чем можно смело гордиться (этого, увы, не дано Мицкевичу), и крушение личного начала, прав на частную жизнь, чему нужно ужасаться (от этого, к счастью, избавлен Гете). Поэма Пушкина двусторонняя, обнимает оба настроения, выраженные порознь Гете и Мицкевичем⁸.

Стараясь открыть в *Медном всаднике* оставшиеся незамечанными смысловые пласты, М. Н. Эпштейн вводит нас в мир архетипов и топосов, в сферу „вечных” культурно-мифологических представлений. Это неотъемлемое право интерпретатора, если речь идет о восприятии пушкинского и гетевского текстов нашим современником, обеспокоенным экологическими проблемами и тоскующим по архетипическому постоянству в молниеносно меняющемся, непрочном мире. Однако вряд ли согласится с такой интерпретацией *Медного всадника* историк литературы, который имеет дело с конкретным материалом минувшей эпохи — с общественным мнением, дававшим о себе знать в разговорах, письмах, печатной полемике 1830-х годов. В свое время В. Ледницки, а позднее В. Э. Вацура убедительно доказали, что пушкинская поэма возникла на почве полемики о Москве, Петербурге и судьбах русского дворянства. Тема эта буквально висела в воздухе. Ф. В. Булгарин и А. Ф. Воейков, Н. М. Карамзин и М. П. Погодин, П. А. Вяземский и П. Я. Чаадаев, Ж. де Сталь, А. де Виньи задумывались над тем, как воспрепятствовать упадку старой *московской* аристократии, как встретить неумолимо надвигающуюся эпоху торжества третьего сословия, как согласовать интересы империи (решающее слово на форуме европейских держав, господство над Восточной Европой — от таких завоеваний не хотел отказаться даже Чаадаев!) с интересами сословий и отдельных людей, как, наконец, добиться европейской просвещенности без казарменной регламентации общественной и частной жизни, без приказов сверху? Обо всем этом размышлял и Пушкин. Указанным проблемам посвящены его публицистические очерки и статьи 1830-х годов: *Путешествие из Москвы в Петербург*, *О ничтожестве литературы русской*, *Мысли в дороге*, рецензия на второй том *Истории русского народа* Н. А. Полевого — а также небольшие заметки⁹. Ни в литературной полемике, подготовившей появление *Медного всадника*, ни в упомянутых произведениях, ни в самой „петербургской повести” мы не найдем и следа сознательного мифотворчества. Пушкин просто включился в разговор на важные для его современников темы, который проходил не на уровне мифологического, а на уровне социально-исторического сознания. Поэтому, как верно указывает В. Э. Ва-

⁸ Там же, с. 200.

⁹ W. Lednicki, ук. соч., с. 85 - 104; В. Э. Вацура, *Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов*. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VI: Реализм Пушкина и литература его времени, Ленинград 1969, с. 160 - 170.

цуро, наводнение, описанное в *Медном всаднике* — „это наводнение реальное, а не метафорическое. Именно поэтому оно влечет за собой не литературные ассоциации, а целую цепь исторических и политических выводов и аналогий, почерпнутых из публицистики. Там оно входило в фактический, бытовой фундамент политической концепции”¹⁰.

И тем не менее в широком историко-литературном плане, охватывающем не пять — десять последекабрьских лет, а два с лишним столетия „петербургской” России, поэма Пушкина может и должна рассматриваться как произведение, спровоцировавшее литераторов грядущих поколений создать миф Петербурга, хотя сам поэт его еще не создает. С Пушкина, в частности, с *Медного всадника*, только лишь начинает формироваться так называемый петербургский текст русской литературы, к которому относится ряд произведений кн. В. Одоевского, Гоголя, Лермонтова, Герцена, Аполлона Григорьева, Достоевского, Всеволода Крестовского, Гаршина, Блока, Андрея Белого, Анненского, Мережковского, Сологуба, Вячеслава Иванова, Вагинова, Ахматовой, Мандельштама, Пильняка, Замятина и других авторов. Создатели петербургского текста, в отличие от иных литераторов, описывавших северную столицу, старались изобразить ее как город-призрак, как искусственно созданное диво, заключавшее в себе символ трагично-патетической судьбы послепетровской России¹¹.

Снова и снова обнаруживается дуализм, не только порнизывающий идейно-художественную структуру, но распространяющийся также на историко-литературную функцию *Медного всадника*: не-миф порождает мифологию.

Происходит это, на мой взгляд, потому, что Пушкин со своими „петербургскими” произведениями (кроме *Всадника* следует упомянуть *Уединенный домик на Васильевском острове*, *Египетские ночи* и *Пиковую даму*) является промежуточным звеном между двумя важными этапами в развитии русского интеллектуального сознания. Его творчество — это заключительный аккорд Просвещения, взявшего на себя в России труд по разрешению ряда проблем, с которыми Западная Европа столкнулась во времена Ренессанса¹². Пушкин воспитывался в атмосфере ренессансно-просветительского рационализма и оптимизма. Этому во многом способствовало то обстоятельство, что юные годы поэта совпали с порою, которая запомнилась ему, как „дней александровых прекрасное начало”. Он пережил радость победы над Наполеоном;

¹⁰ Там же, с. 167.

¹¹ Подробную характеристику этого примечательного явления см. в работе: В. Н. Горюнов, *Петербург и петербургский текст русской литературы (введение в тему)*, „Ученые записки Тартуского государственного университета” 1984, вып. 664, с. 4 - 29.

¹² Ср. Е. И. Кириченко, *Архитектурные теории XIX века в России*, Москва 1986, с. 13.

старшие его сверстники (Чаадаев, Батюшков и другие) участвовали во взятии Парижа. Тогда же создавался классический Петербург, воздвигались величественные постройки К. Росси, Т. де Томона, А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, регулярность и орднерность которых ассоциировались с благотворностью государственно-организующего начала¹³. Вплоть до 1820-х годов, до укрепления Священного союза у русской интеллигенции были еще основания верить в торжество просвещенного абсолютизма. Верность идеалам того времени сохранилась у Пушкина на всю жизнь, несмотря на то, что неумолимый ход истории, заставивший пересмотреть прежние идеалы и ценности, превратил поэта в одного из критиков просветительского оптимизма. Во второй половине 1820-х и в 1830-х годах Пушкин стал в один ряд с теми мыслителями и художниками слова, которые прививали русской культуре романтический взгляд на вещи. На смену рационально-юридическому историзму Просвещения пришел романтический историзм, а следовательно дуалистический взгляд на судьбы народов, попытка понять сложную диалектику исторического процесса и вытекающий из нее трагизм. Все более популярными становились идеи органического развития личности, общества и каждой отдельной нации, с перспективы которых Петербург — теперь уже николаевский — стал рассматриваться как нечто неестественное для духа народа, официальное, казенное, как бездушно разлинованная казарма¹⁴. Отныне он неизменно противопоставлялся Москве, как выполненная искусными руками педантичного мастера механическая кукла обычно противопоставляется живому человеку. Такого рода мысли не были чужды Пушкину — однако, он по-прежнему ценил классическую гармонию „стройного” города.

Пожалуй, никогда в распоряжении русских писателей не было темы более подходящей для выражения антиномической приверженности и к просветительской, и к романтической иерархии ценностей, чем тема Петербурга. Русские люди всегда относились к новой столице неодинаково: одни гордились и восхищались ею, другие смотрели на нее с недоверием, а некоторые открыто объявляли себя ее врагами. В русской литературе от Феофана Прокоповича до Батюшкова единственным возможным отношением к Петербургу было апологетическое¹⁵. Интеллигенция, полная веры в скорое торжество разума, видела в Петре первого просветителя России, а в построенном по его воле городе — символ цивилизованного, *очеловеченного* государства. В то же время почти одновременно с закладкой и постройкой столицы в неевропеизирован-

¹³ Ср. там же, с. 14 - 15, 39.

¹⁴ Ср. Е. А. Борисова, *Некоторые особенности восприятия городской среды и русская литература второй половины XIX века*. В кн.: Типология русского реализма второй половины XIX века, Москва 1979, с. 253 - 266.

¹⁵ Об аналогии Петербурга в русской литературе допушкинских времен подробнее см.: E. Lo Gatto, *Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia*, Milano 1960, с. 80 - 102.

ных „низах” русского общества возникает устная легенда о грядущей гибели Петербурга. Согласно ей город этот явился делом рук антихриста, построен на нечистом месте, а потому ему суждено быть затопленным во время наводнения¹⁶. Легенда оказалась необычайно жизнеспособной. Зловещий слух: „Петербургу быть пусто!” — за распространение которого некий монах Троицкого собора был в 1722 году осужден на три года каторги¹⁷, столетие спустя звучал на устах не только простолюдинов, но и большого света. Антипетровские настроения, естественно, сильнее всего давали о себе знать во время катаклизмов. Так например, кн. П. А. Вяземский сообщал в письме к А. И. Тургеневу, что жена сенатора гр. В. В. Толстого после наводнения 1824 года поехала на Сенатскую площадь и показала язык памятнику Петру — *Медному всаднику* ...¹⁸

В своих работах по истории русской культуры петровского времени Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский убедительно доказали, что Петербург как имя и как место объективно заключал в себе разные, порою противоположные смыслы¹⁹. Он был задуман, как хранилище ассоциативных кодов, отсылавших мысль современников к символам совершенно различных, порою враждебных друг другу культурных „текстов”. Как „город святого Петра” он претендовал на то, чтобы стать „третьим Римом”: об этом свидетельствовал его герб — скрещенные якоря, подобно скрещенным ключам в гербе Рима, а также Исаакиевский собор, похожий на собор святого Петра. В то же время имя города ассоциировалось с реальным его основателем, что напоминало и о городе Константина, временной столице Римской империи. Вечная молодость Рима, регулярность отвоеванной у моря Голландии, державность Константинополя, взятые в совокупности, могли, однако, вызвать у современников ощущение призрачности, театральности, а следовательно, культурно-семантической пустоты новой столицы. Отсутствие у Петербурга длительного исторического прошлого и связи с местной эстетической и бытовой традицией способствовало тому, что ее место в идеологическом осознании города заняли мифы.

Мифотворчеству в значительной степени благоприятствовала и локализация Петербурга. Он был построен не в центре страны, а на краю, на берегу,

¹⁶ О возникновении „петербургской легенды” и ее литературных судьбах см.: W. Lednicki, ук. соч., с. 55 - 57, 84 - 85; Р. Г. Назиров, *Петербургская легенда и литературная традиция*. В кн.: Традиции и новаторство, вып. III, Уфа 1975, с. 122 - 136.

¹⁷ М. И. Семевский, *Слово и дело: 1700 - 1725*, изд. 3-е, Санкт-Петербург 1886, с. 95.

¹⁸ См. W. Lednicki, ук. соч., с. 56.

¹⁹ Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, *Отзвуки концепции „Москва — третий Рим” в идеологии Петра Первого (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко)*. В кн.: Художественный язык средневековья, Москва 1982, с. 236 - 249; Ю. М. Лотман, *Символика Петербурга и проблемы семиотики города*, „Ученые записки Тартуского государственного университета” 1984, вып. 664, с. 30 - 45.

практически вне государства, на зыбкой болотистой почве, почти на воде; не раз и не два на город обрушивалась водная стихия. Ни одна метрополия не лежит так далеко на севере, в зоне явлений, способствующих возникновению и развитию психологического „шаманского” комплекса и разного рода неврозов²⁰. Не случайно авторами петербургского текста русской литературы явились в первую очередь москвичи, а также уроженцы среднерусской провинции или Малороссии: Пушкин, Вяземский, В. Одоевский, Гоголь, А. Григорьев, Достоевский. Изнутри страны, с известной культурно-географической дистанции ни на что русское не похожий Петербург в самом деле выглядел как „полночных стран краса и диво”, то есть нечто удивительное, прозрачное, восхитительное и в то же время гнетущее. Всеми этими обстоятельствами поспешил воспользоваться романтизм, который принес с собою идеал органичности, нерукотворности естественных и культурных ценностей. С этой точки зрения не „наильно” построенный Петербург, а „самостийно” выросшая на подлинно национальной почве Москва могла считаться человеческой. Такого рода настроениям вполне соответствовала антипросветительская тенденция старой петербургской легенды.

Чуткое ухо поэта превосходно улавливало все отчетливее звучащие в атмосфере идейного „перепутья” конца 1820 — начала 1830-х годов антипетербургские голоса. Глубоко им сочувствуя, Пушкин не мог оставаться глухим и по отношению к доводам противной стороны трагического конфликта: для него далеко не безразличен был вопрос о внешнеполитической безопасности и могуществе Российской империи в единстве всех ее частей, о чем красноречиво свидетельствовала *Полтава* и антипольская лирическая трилогия. В *Медном всаднике* Пушкину удалось преодолеть публицистическую пристрастность прежних высказываний о судьбах послепетровской России. Более того, образ автора в поэме принципиально нейтрален. Он выражает симпатию к обеим сторонам нравственно-исторического конфликта. Понимая правоту каждой из них, автор выбирает для себя стоическую позу объективного — но не равнодушного, а сопереживающего — наблюдателя, который стоит выше изображаемых событий и проблем и стремится к установлению гармонии противоборствующих правд. Ее удастся достичь лишь в плане эстетическом. Острый идеологический спор механистически-просветительского и консервативно-органического начал был превращен в многозначный, оставляющий многое неясным диалог. При чтении поэмы создается впечатление полнейшего *равновесия противоположных идеологических интенций*. Разумеется, у Пушкина есть свое окончательное мнение на тему Петербурга — и он высказывает его в письмах, статьях и заметках, но не в *Медном всаднике*, внутренним законом которого является равноправие и равновесие. Поняв и прочувствовав доводы апологетиков новой столицы и ее заклятых врагов

²⁰ Ср. В. Н. Топоров, ук. соч., примечание 19 к с. 19.

(которым до сих пор был закрыт путь в верхние этажи литературы), поэт совершил единственную в своем роде попытку создать универсальный, предельно синтетический образ города.

Это неустойчивое равновесие просветительской и романтической интерпретации петербургской темы неизбежно должно было быть нарушено в пользу романтизма. Уже в середине 1830-х годов становится ясно, что „светлое” воззрение на город Петра нельзя примирить с „темным” и что последнее звучит все убедительнее.

Как известно, вслед за Пушкиным создает целый ряд „петербургских повестей” и публикует *Петербургские записки 1836 года* Гоголь. Вера в разум и просвещение некогда коснулась его, но в отличие от пушкинского поколения он ассоциирует человечность не с рациональной цивилизованностью, а с „непосредственностью” органической и даже патриархальной жизни. Гоголь критикует Петербург и „петербургскую” Россию как откровенный антирационалист, антиурбанист; к этому прибавляется страх перед „грядущим хамом” — капитализмом²¹. С таких позиций Пушкин не выступал никогда. Но тем не менее Гоголь был настоящим, большим художником и не любил „окончательных приговоров”: нетрудно найти в его текстах и скрытое восхищение величием Петербурга, и ироническое отношение к слабостям и чудачествам Москвы. Гоголь — это связующее звено между неясными отголосками консервативно-романтических тенденций, услышанных Пушкиным, и славянофильской мифологией Петербурга, где эти тенденции достигают своего апогея.

Славянофилы не пережили увлечения просветительскими идеалами. Малейший намек на оптимизм в духе XVIII века вызывал у них резко отрицательную реакцию. Они были консервативными романтиками с момента пробуждения своего интеллектуального и художественного сознания. Генетически тесно связанные с традициями боярских и стародворянских родов, обитавших в Москве и прилегавших к ней губерниях²², славянофилы неприязненно относились к Петербургу.

На жанр и конвенцию антипетербургских филиппик наложили свой отпечаток и 1840-е годы — эпоха усиливающейся идеологизации общественно-литературной жизни, пора первых идейных размежеваний в среде „честной” интеллигенции. Славянофилы, вопреки пушкинским традициям, старались придать литературному высказыванию социально-нравственную остроту. Поэтому сильнее всего критика в адрес Петербурга звучит у них не в публицистике, а в поэзии.

²¹ Ср. B. Galster, *Petersburg w pismach Mickiewicza i Gogola*. W: O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich. Tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Słowistów w Pradze, Wrocław — Warszawa — Kraków 1969, с. 127 - 140.

²² Ср. A. Waliński, *Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej*, Warszawa 1959, с. 54 - 55.

Отринул ты Москву жестоко
 И, от народа ты вдали,
 Построил город одинокой —
 Вы вместе жить уж не могли!
 Ты граду дал свое названье,
 Лишь о тебе гласит оно,
 И — добровольное сознание —
 На чуждом языке дано.
 Настало время зла и горя,
 И с чужестранною толпой
 Твой град, пирующий у моря,
 Стал Руси тяжкою бедой.
 Он соки жизни истошает;
 Названный именем твоим,
 О Русской он земле не знает
 И духом движется чужим²³.

Эти строки К. Аксакова претендуют на окончательную истинность и неоспоримость в той же мере, как прямое высказывание его брата в частном письме: „Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности — возненавидеть Петербург всем сердцем своим и помыслами своими”²⁴.

Справедливости ради следует заметить, что славянофилы старшего поколения (Хомяков, И. Киреевский) и группа „Москвитянина” (Погодин, Шевырев, М. Дмитриев) неоднократно писали об относительной пользе европеизации, не отрицая при этом и положительной роли Петербурга, как „окна в Европу”. Однако главный упор делался не на это. В мышлении славянофилов и близких к ним в данном случае „москвитян” преобладал схематизм, свойственный мифотворческому мышлению. Это хорошо видно на примере стереотипной антитезы Москвы и Петербурга. Для Москвы подбирались такие эпитеты, как: душевная, семейственно-интимная, уютная, естественная, живая, теплая, русская, православная, наша, матушка; для Петербурга — бездушный, казенный, казарменный, официальный, неестественно-регулярный, неуютный, холодный, каменный, нерусский, немецкий и т.п.²⁵

Славянофилы договаривают до конца то, что у Пушкина звучит полунамеком. В их абстрактно-утопическом сознании складывается „миф конца” — миф об абсолютной враждебности Петербурга человеку и о его неизбежной гибели в будущем²⁶. Старая легенда о затоплении „бесовской” столицы благодаря славянофилам получает права гражданства в высокого ранга литературе. Пушкинская тема наводнения становится обязательным

²³ К. С. Аксаков, *Петру*. В кн.: Русская поэзия XIX века, т. I, Москва 1974, с. 590 - 591.

²⁴ Из письма К. С. Аксакова отцу и братьям. Цит по: В. Н. Топоров, ук. соч., с. 7.

²⁵ См. там же.

²⁶ Ср. Ю. М. Лотман, *Символика Петербурга ...*, с. 36.

мотивом в славянофильской версии петербургского мифа. Содержание последнего можно кратко передать следующим образом.

Петербург был задуман „гордым”, но ограниченным по самой своей природе человеческим разумом как „новый Амстердам”, вечно юный Рим, северная Венеция и северная Пальмира. Однако человек бессилён сотворить то, что под силу одному лишь Богу и что должно вырасти само собою. Петр и его сподвижники понадеялись, однако, на свои силы и потому смогли построить только новый Вавилон. Петербург создан искусственно, наперекор природе и народу. Это плод рассудочной мысли, лишённой дара божественного откровения. Следовательно, он неорганичен. Он мешает народу жить свободно, как Бог велел, не вникая в претензии „гордого” индивидуального разума. Значит Петербург обречён на гибель. Подобно призрачной Атлантиде, он должен утонуть. Таким образом, пушкинский мотив наводнения приобретает мифологическое звучание и совершенно новый смысл.

М. Дмитриев, поэт из круга „Москвитянина”, хотя и не был поклонником литературы ужасов и черных пророчеств, поддавался мифотворческим настроениям и в стихотворении *Подводный город* создал эсхатологический образ утонувшей столицы:

Тут был город, всем привольный
И над всеми господин;
Ныне шпиль от колокольни
Виден из моря один! ²⁷

Тот же мотив водной стихии, взбунтовавшейся против воли властелина, который приказал построить город-декорацию, звучит в стихотворении Шевырева *Петроград*, а также в известной книге А. де Кюстина *Россия в 1839 году*, автор которой, убежденный традиционалист, во многом нашел общий язык со славянофилами. Образ „финского болота”, как могилы, в которую погрузится фантазмагорический город, волновал Достоевского.

Разумеется, славянофилы не желали реальному Петербургу смерти. Их чаянием было перенесение столицы обратно в Москву, чтобы „в заглавии” страны стояла Русь, а не „немцы”, то есть не город с чуждым русскому уху именем, поставленный на рубеже финских и остзейских земель. Но в обстановке усиливавшейся полемики с западниками весьма притягательно было оперировать такими понятиями, как Москва, Петербург, Россия, Запад в качестве упрощенных сигналов противоположных идеологических тенденций. Так например, антагонизм между западничеством и славянофильством на каждом шагу изображался как антагонизм двух столиц — метонимия весьма характерная для романтического мифотворчества. Прекрасным примером подобного мышления стереотипами может послужить фрагмент из письма К. Аксакова к Ю. Самарину, написанного в декабре 1844 года:

²⁷ М. А. Дмитриев, *Стихотворения*, т. I, Москва 1865, с. 176.

... Между Москвой и Петербургом нет и не может быть никакого соединения. Все еще оставшиеся связи мы должны прервать. Пусть себе строят железную дорогу, но мы нравственно станем бездну между собою; полное разделение и полная противоположность и непримиримость начал. Нет, петербуржец не может быть хорошим человеком — таким признаю я москвича. Добрых петербуржцев нам не надо... в Петербурге хорошие люди могут быть только москвичи; они могут существовать только материально, занимать известное пространство земли, ходя, стоя, лежа или сидя, дышать, хотя северным, воздухом, пить вялую невскую воду и т.д. Но петербургская деятельность (альманах есть часть этой деятельности) нам совершенно чужда, и в ней мы не станем принимать участие [...] Нет, надо, чтобы петербуржец отрекся вполне от Петербурга — тогда может он быть москвичом²⁸.

В творчестве романтиков 1840 - 1850-х годов, исповедовавших идею органичности всех элементов мироздания и в чем-либо соприкасавшихся со славянофилами, довольно часто встречаются „растительные” метафоры при описании Москвы. Мифологизированный образ старой русской столицы призван вызвать у читателя ассоциации с живым телом растения („великолепно разросшееся и разметавшееся растение, называемое Москвою” — Аполлон Григорьев, *Мои литературные и нравственные скитальчества*). В то же время Петербург неизменно изображался как явление „вымышленное”, сугубо „культурное”, вызванное к жизни некоей насильственной волей в соответствии с предумышленной схемой. Он — не живое тело, а мертвый каменный монолит. Недаром в описаниях Петербурга преобладают образы возвышающегося над водой камня²⁹.

Как же вели себя в этой ситуации противники славянофилов? Логичнее всего было бы, на первый взгляд, предположить, что западники воспользуются для противопоставления Москвы Петербургу славянофильской схемой à geboirs. Западники призваны были восхвалять цивилизованный, культурный, планомерно организованный город Петербург и издеваться над Москвой, как хаотичной, беспорядочной, противоречащей логике, полуазиатской деревней³⁰. Можно себе представить, что в пылу полемики спорящие стороны действительно прибегали к подобного рода стереотипным представлениям. Отголоски этой словесной дуэли можно отыскать в письмах Белинского — наиболее яростного сторонника „петербургского” начала в русской жизни. Так например, в письме к М. Н. Каткову и А. П. Ефремову от 6 апреля 1842 года содержится следующее признание:

... Питер меня протрезвил — спасибо ему! от московской дури и „пьяных надежд”. Был я недавно в Москве — преглупый город! Там все гении, все идеалисты — и нет к чему-ни-

²⁸ Неопубликованная рукопись. Хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33, лл. 25 - 26. Опубликованный фрагмент цит. по кн.: В. А. Кошелев, *Общественно-литературная борьба в России 40-х годов XIX века. Лекции*, Вологда 1982, с. 35 - 36.

²⁹ Ср. В. Н. Топоров, ук. соч., с. 11 - 12.

³⁰ Именно так представляет себе западническую антитезу Москвы и Петербурга В. Н. Топоров (ук. соч., с. 7).

будь годный деятелей. Вид Москвы произвел на меня странное действие: ее безобразие измучило меня, а по возвращении в Питер красота его мощно охватила мою душу [...] Москва гинет в патриархальности, пиетизме и азиатизме. Там мысль — грех, а предание — спасение. Там все Шевыревы³¹.

Такого рода крайние суждения были характерны прежде всего для самого „бунтарского” периода в жизни и творчестве Белинского (1841 - 1844 годы). Ранее и позднее этого периода у него нередки более критические оценки Петербурга. Под конец жизни у него даже появилось желание переехать в Москву, но в конце концов он остался в столице, избрав меньшее, по его мнению, зло. В Москве его привлекала атмосфера философских исканий, глубина обсуждаемых в свободной беседе проблем. Зато Петербург был близок тем, что там находился центр литературно-журнального движения, там исправно функционировал книжный рынок и шла борьба за читателя, там сильнее чувствовалась конкуренция заграничной литературной продукции, от уровня которой старались не отставать столичные издатели. Это был не только город тупых чиновников, но и просвещенной бюрократии, на которую вождь западников возлагал определенные надежды. Как в первые месяцы своего пребывания в Петербурге, так и спустя годы Белинский считал, что этот город „оскорбляет в человеке все святое” — но в то же время „заставляет выйти наружу все сокровенное”³², беспощадно заставляет не рассуждать, а действовать — во имя всего того же „святого”.

Западническая мифология Петербурга, которая возникла в ответ на славянофильское мифотворчество, не была столь дерзкой, однозначной, не апеллировала к простому и заманчивому миру легенд и архитипических образов. Давало о себе знать „интеллигентское”, сомневающееся во всем сознание недавних „лишних людей”, недоверчиво относившихся к любым однозначным суждениям и культивировавших довольно непопулярное на Руси достоинство — терпимость, то есть стремление понять иную точку зрения и проникнуться к ней известным уважением³³.

Наиболее нормативным выражением западнического взгляда на северную столицу является очерк Белинского *Петербург и Москва*, открывавший некрасовский альманах *Физиология Петербурга*. Выступление лидера западников на этот раз не было направлено непосредственно против славянофилов, зато содержало в себе скрытую полемику с распространявшимся в списках памфлетом Герцена *Москва и Петербург*. Искандер, занимавший вместе с Огаревым особую позицию среди западников и во многом разделявший антикапиталистические настроения хомяковской дружины, продолжал традицию революционно-романтических интерпретаций легенды о гибели Пе-

³¹ В. Г. Белинский, *Полное собрание сочинений*, т. XII, Москва 1956, с. 95.

³² Там же, т. XI, с. 418 (письмо к В. П. Боткину от 22 ноября 1839 года).

³³ Ср. Б. Егоров, *Некоторые проблемы культурологии (на материале русской жизни XIX века)*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1973, т. 3, с. 10 - 11.

тербурга: анонимных „стихов о наводнении”, приписываемый то кн. А. Одоевскому, то Лермонтову, и поэмы В. С. Печерина *Торжество смерти*. Автор *Москвы и Петербурга* испытал также сильное влияние *Петербургских записок 1836 года*, причем антиурбанизм и антибуржуазность Гоголя приобрели в устах Герцена остро политическое, антигосударственное звучание, что сближало вышеупомянутый памфлет и с петербургскими главами третьей части *Дядюв* Мицкевича. Герцен утверждал, что у Петербурга нет истории и нет будущего и что хотя отсталая патриархальная Москва ныне представляет собою безотрадное зрелище, но может быть, в будущем ей суждено сыграть главную роль в коренном переустройстве России³⁴. Это было отступлением от основной линии западничества, и Белинский стал на его защиту.

Автор *Петербурга и Москвы* признает, что старая столица не только живописнее и радушнее Петербурга, не только менее меркантильна и казенна — она образованнее, умнее новой столицы: там лучший университет, там серьезные философские кружки, там зарождается просвещенное третье сословие. И все же будущее России как передовой европейской державы и первую очередь связано с Петербургом — в этом Белинский совершенно убежден. Он противопоставляет славянофильской эсхатологии Петербурга западнический миф о его великом предназначении, который звучит наиболее отчетливо в вышеупомянутом очерке.

Западническая мифологизация Петербурга никогда не превращалась в серию поверий и пророчеств, высказываемых в форме конкретных мотивов, как это было принято у славянофилов. Белинскому и его соратникам была чужда романтическая тяга к легенде. Их мифотворчество заключалось главным образом в том, что архитектурному облику Петербурга, истории его возникновения и образу жизни его обитателей приписывался глобальный, всемирно-исторический смысл. Каждый элемент городской среды рассматривался как необходимое проявление поступательного хода истории от примитивности к цивилизации, от бессознательности к сознанию, от господства детерминизма к истинной свободе. Возникали стереотипные представления и верования, генетически связанные со своеобразной просветительской интерпретацией гегелевского историзма, с левогегельянкой философией деяния и апофеозом человеческой индивидуальности.

В очерке *Петербург и Москва* Белинский утверждает, что Петербург — это единственное место в России, которое непосредственно вписывается в общечеловеческую культуру. Ордерные формы важнейших построек города напоминают не о казармах, а о единственной эпохе, искусство, философия и стиль жизни которой несли на себе отпечаток всечеловечности — о классическом периоде Древней Греции. Постройка столицы на морском берегу — это не насилие над природой, а всего лишь освобождение от ве-

³⁴ Ср. В. Galster, *Hercen i Gogol*, „Slavia Orientalis” 1971, № 1, с. 43-44.

ковой зависимости от ее беспощадно-равнодушных законов, а наводнения рано или поздно будут обузданы всепобеждающим прогрессом науки. „Стать при море” — это значит тесно связать себя с Западом, который идет в авангарде человечества. Петербург — это город непрекращающейся деятельности. Здесь все куда-то спешат, все служат, все „делают дела”. Это, конечно, далеко не идеал исторического деяния, но все же ближе к нему, чем московское благодушное ничегонеделанье. История в Петербурге понимается как прогресс, а не как предание. Человек здесь страдает больше, чем в провинции — но именно тут скорее станет трезвым, отбросит иллюзии, начнет действовать, если только он умеет мыслить и не боится коренных изменений, как традиционалисты-славянофилы. Наконец Петербург — это краеугольный камень российской государственности нового времени, военно-политической мощи России — а только сильное, юридически и политически развитое государство может обеспечить личности истинную свободу и суверенность³⁵.

Создавая антиславянофильский панегирический миф северной столицы, Белинский впервые высказывает дерзкую по тем временам мысль: Петербург — не призрак, не город без истории, а великий исторический памятник. Это памятник эпохи очеловечивания России, эпохи пробуждения чувства личности в русских людях и, разумеется, достижения ею политического могущества в общеевропейском масштабе. Петербург историчен, потому что его биография — залог великого будущего России. К такому выводу западники приходили потому, что понятие истории для них означало не безвозвратное прошлое и не сохранение традиционных, самобытных форм бытия, а непрерывный процесс совершенствования этих форм. Любопытно, что в начале XX века, несмотря на большую популярность идеи о призрачности и недолговечности Петербурга, прокладывало себе дорогу убеждение, что этот город является уникальным памятником истории и культуры. Художники, архитекторы и реставраторы обратили тогда внимание не только на шедевры древнерусского зодчества и старинные усадьбы, но и на неповторимый ансамбль города на Неве³⁶.

Западническую мифологию Петербурга можно рассматривать как трансформацию пушкинского образа столицы. Разумеется, западники абсолютизировали совсем не те черты изображенного поэтом города, которые волновали славянофилов. Белинский нарушил пушкинское равновесие между памятью о красоте Просвещения и реакцией на его односторонний рационализм в пользу последнего. Недаром критик так восхищался патетическим вступлением

³⁵ Этатизм западников был тесно связан как с просветительскими традициями значительной части русской интеллигенции, так и с влиянием Гегеля. См. об этом: В. Шукин, *Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление*, Кракów 1987, с. 85 - 93.

³⁶ См. Е. И. Кириченко, ук. соч., с. 79.

к *Медному всаднику*. Не питая никаких иллюзий относительно исторической активности русского народа, Белинский боготворил Петра I за то, что тот осмелился насильно толкнуть страну на путь цивилизации³⁷. По всей вероятности, лидер западников был вполне согласен со следующими словами Пушкина, сказанными в *Путешествии из Москвы в Петербург*: „Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно”³⁸.

У Пушкина отсюда следует двузначный вывод: прискорбно, что народ инертен, но не менее прискорбно то, что правящая династия насаждала прогресс насильственными мерами, не считаясь с мнением народа и с объективным положением вещей. Белинский же недвусмысленно высказывалась за такого рода преобразования: прогресс для него был сам по себе величайшей ценностью, ради которой стоило пойти на многочисленные жертвы.

Но что же в таком случае остается делать пушкинскому Евгению? Как сохранить за ним право жить по-человечески и как защитить его от невзгод, которые неизбежно влечет за собою созидающе-разрушающая поступь истории? Вопрос этот также оказался в центре внимания и славянофилов, и западников. И те и другие считали себя наследниками Пушкина, гуманистами, защитниками прав человека. И те и другие старались разрешить конфликт между личностью и государством, который был изображен в *Медном всаднике* как неразрешимый принципиально. Так родились два противостоящих друг другу решения этого конфликта. Каждое из них было по-своему утопично.

Консервативная утопия славянофилов означала добровольный отказ личности от права быть независимой. Петр I не должен был насильно исправлять историю и строить „новый Вавилон” на финском болоте — но и Евгений не должен был бунтовать против высших сил. Преодолеть свою „гордость” и составить единую семью, полюбить друг друга, как отец и сын; отказаться раз и навсегда от губительных попыток творить историю в то время, как ее следует сохранять — вот что нужно сделать, чтобы преодолеть конфликт личности и государства. Когда государство станет народным коллективом, проникнется „соборным”, хоровым началом, человек обретет наконец личное счастье и подлинную свободу.

Западники понимали человечность и свободу иначе. Они полностью оп-

³⁷ См. В. Г. Белинский, *Полное собрание сочинений*, т. V, с. 139 - 148, 541, 547 - 548, 649 - 650; т. VI, с. 287 - 290, 618 - 619, 629; т. XI, с. 148 - 149; т. XII, с. 338, 433, 461 - 462 и др. Ср. также: К. Д. Кавелин, *Воспоминания о В. Г. Белинском*. В кн.: К. Д. Кавелин, *Собрание сочинений*, т. III, Санкт-Петербург 1909, стлб. 1091.

³⁸ А. С. Пушкин, *Полное собрание сочинений в десяти томах*, изд. 3-е, т. 7, Москва 1964, с. 269.

равдывали и усилия Петра, направленные на создание новой России, и бунт Евгения против несправедливого государства, не считавшегося с правами отдельного человека. Личность, полагали они, является конечной целью истории. Поэтому любое историческое деяние, тем более государственное строительство, должно быть полностью подчинено интересам отдельно взятого человека. Конфликт между властью и имущими и их подданными может быть разрешен, если государство будет построено на подлинно разумной основе. Именно разумности, как полагали западники, не доставало подчас Петру и в особенности его наследникам на престоле. Счастье и свобода каждого отдельного человека зависит от степени развитости политической, правовой, нравственной, эстетической и даже бытовой культуры данного общества. Современное демократическое государство (западники верили, что исторический прогресс рано или поздно заставит и Россию стать таковым) не будет вынуждено ни к чему никого принуждать, так как все его политические, правовые и прочие институты призваны будут стоять на страже интересов и свободы своих граждан — не только всех вместе, но и каждого в отдельности.

Таким образом, нарушенное славянофилами равновесие просветительских и романтических интенций, с таким трудом достигнутое Пушкиным в *Медном всаднике*, в 1840-х годах обернулось идеологическим антагонизмом. В 1833 году, в период утробного развития политико-идеологического сознания в России, еще возможно было счастливое соединение разных нюансов в универсальном сознании великого поэта. Спустя десять лет в русской литературе сложились два противоборствующих мифа, за которыми скрывались принципиально разные взгляды на Россию, на ее прошлое и будущее. Многие, подобно Герцену, Достоевскому или Льву Толстому, будут пытаться преодолеть односторонность западничества и славянофильства, заимствуя у обоих течений то, что казалось ценным, и создавая все новые и новые утопии. Однако никому из этих великих синкретистов не удастся уже достичь в своих творениях столь гармоничного примирения разнонаправленных правд, как удалось это Пушкину в его неповторимой „петербургской повести”.

A. S. PUSHKIN'S *COPPER RIDER* AND THE SLAVOPHILIC-WESTERN
MYTHOLOGY OF PETERSBURG

by

VASILIJ SHCHUKIN

Summary

Alexander Pushkin's poem *Copper Rider* is an important caesura in throwing light on the subject of Petersburg. It closes the period of pathetic hymn to the honour of "The Palmyra of the North", and at the same time is the first of a number of works which con-

stitute the so called Petersburg text in Russian literature, and presenting Petersburg and its role in the history of Russia in a tragic and eschatological manner. Pushkin managed to create a poetic vision in which two opposing intentions of interpretation are balanced together — an Enlightenment and the Romantic one.

This balance is soon to be shaken. In the 40's of the 19th century, during the period of intensified ideologization of literature the Enlightenment and Romanticism cannot be reconciled within one poetic or intellectual consciousness. These are the Slavophilic-Romantic “myth of the end” and the Occidental (Enlightenment-positivist) “myth of splendour”.